

ЧИСТОТА, ТОЛКАЮЩАЯ К УБОЖЕСТВУ

В наших северных деревнях бытует такая поговорка: «Была я в Маскве, шла на даске и упала... в грезь!». Народ всегда ехидно высмеивал пижонство, неестественность, стремление выделиться любимыми средствами. Сказывается это пижонство по-разному. Мой деревенский знакомый, побывавший в городе, вдруг ни с того ни с сего выкрасил масляной краской тесаные сосновые стены своей горницы. Красиво? Современно? По-моему, ужасно. Девушка вернулась домой после двухмесячных курсов и вдруг стала говорить: пионер, зоотехник, фанэра, истэрика. Откуда это?

В детстве, помнится, мы, ребяташки, стремясь как-то отделиться от взрослых, создавали свой, ребячий язык. Говорили не *деревня*, а *внядерё*, не *плаваю*, а *ваюпла*. Получалось, как нам казалось, очень здорово. К сожалению, стремление к подобной оригинальности для многих людей не кончается и после детства. Молодая дама произносит *кочмар* вместо *кошмар*. Ей искренне думается, что *кошмар* — это простонародно и неблагозвучно. Другой знакомый, начитавшись всяких капитальных трудов, никогда не скажет просто: *не надо*. А обязательно *нет необходимости*. В Вологде на здании вечерней школы висит объявление: «...школа производит прием учащихся». Почему же не написать было проще и правильной: *принимает учащихся*? Очевидно, по мнению администрации, *производит прием* звучит солиднее, строже, внушительнее.

Можно понять врачей и провизоров, использующих в разговоре и при письме латынь... Это, так сказать, их особое, узаконенное веками право. Но как понять инженера-строителя, химика, металлурга, который, выступая в журнале или на митинге, вдруг с каким-то особым удовольствием, даже с гордостью начинает сыпать иностранными словами и выражениями? Причем зачастую даже давно укоренившиеся в практике русские слова нарочно заменяются иностранными: вот, мол, какой я ученый и начитанный. Разумеется, я не говорю здесь о тех иностранных словах, которые перевести или заменить русскими невозможно вообще. (Подробно и весьма показательно пишет об этом К. Яковлев в статье «Тяго-

тенпе или отягощение?», опубликованной в № 9 за 1968 год журнала «Молодая гвардия».)

Недавно, совершенно случайно, попалась мне на глаза хрестоматия для пятого класса. Та самая книжка, по которой вот уже много лет учатся миллионы наших пятиклассников. Составили ее В. В. Голубков, А. П. Алексич и С. М. Браиловская. Редактор Г. А. Голованова. Книжка утверждена Министерством просвещения РСФСР, издана восьмой раз и называется «Родная литература». С любопытством листаю ее. Не буду говорить о том, почему книга показала мне бедной по содержанию — это тема иного разговора. Удивило другое, на первый взгляд, совсем незначительное обстоятельство. На большинстве страниц «Родной литературы» имеются сноски, поясняющие детям непонятные, по мнению редакторов, слова и выражения. Какие же это слова и выражения?

Давайте посмотрим начиная с одиннадцатой страницы: луки тугие, боярский двор, терем девичий, палаты. Хорошо. Может быть, действительно необходимо разъяснить школьнику, что это за палаты такие. На шестнадцатой странице школьнику растолкуют, кто такой *кожемяка* и что он делает (оказывается, мнет кожу). Поясняется, что *увязалась с нею* — это значит 'ушла вместе', что *промеж нас* — народное выражение, равносильное выражению 'между нами'. Далее неискушенные детишки узнают, что значит слово *молодица* из пушкинской сказки. Утверждается, что выражение *пожалую тебя* есть устарелое слово и означает 'окажу милость, награжу'.

Посмотрим еще несколько сносок: надыса — 'повреждение, от натуги'; измаялся — 'измучился'; рытвина — 'яма'; покои (устарелое) — 'богато убранные комнаты в барском доме'; радение (устарелое) — 'старание'; ветер с полудня (устарелое) — 'южный, теплый ветер'; супротив — искаженное слово 'против'; бить баклуши (народное выражение) — 'бездельничать'.

Перечитав подобные сноски в книге с названием «Родная литература», я вспомнил лесковского немца, который так старательно и так безуспешно переводил услышанное однажды выражение *Ну, и штуку отмочил!* Конечно же, *бить баклуши* — это идиома, может быть, достойная специального пояснения, как и в случае с многообразным немцем. Но зачем же пояснять, пусть даже и детям, слово *молодица*? (Кстати, *молодицей* в русском языке во все не всегда называют молодую жену, как это утверждается в хрестоматии.) И если уж посвящать сноску этому слову, то надо было попутно растолковать юному читателю и кто такие *царь, царевна, королевич*, тем более, что слова эти чужды нашему современнику.

Но мне почему-то думается, что школьник, даже самый современный, приходит в школу не с необитаемого острова. И что пятый класс сам по себе подразумевает известную осведомленность подростка, его языковые познания, почерпнутые из книг, в семье, в детском саду и т. д. И если редакторы объясняют общезвестные

слова в специальных сносках, то происходит это, видимо, по одной из двух причин. Либо редакторы не доверяют себе, либо не верят в возможности детей.

Удивляет еще и пристрастие к сноскам в сносках, указание на то, что вот, мол, это слово народное, это устарелое. А почему, собственно, пушкинское *пожалую тебя* устарело и хуже чем редакторское *окажу милость*? И если пояснять пушкинское *пожалую тебя*, то, возможно, надо пояснять и редакторское *окажу милость*. *Рытвина* — это яма, говорится в книге. А *яма* это что, *рытвина*? *Ветер с полудня*, по глубокому убеждению редакторов, — устарелое, *супротив* — искаженное. Что это: стремление к чистоте и регламентации или преднамеренное обеднение родного языка?

Несколько лет назад в печати уже были высказывания по поводу обеднения языка. Но наряду с этим раздавались голоса, что для языка никакой опасности нет, что говорить об этом смешно и не нужно, что процесс развития языка неуправляем и пусть, мол, все движется само собою.

Нет, все-таки, опасность обеднения языка существует. Она, на мой взгляд, обусловлена двумя далеко не безобидными явлениями: во-первых, обеднением речи у многих людей по количественному, словарному составу; во-вторых, обеднением образности, полнокровия, живописности языка. И если первая опасность более или менее понятна и проста, то вторая, как мне кажется, намного сложнее, обширнее и потому неуязвимее.

В самом деле, можно ли обвинять человека в том, что он не умеет говорить образно, ярко, своеобразно? (Хотя еще в 20-х годах в вологодских, к примеру, деревнях существовал настоящий культ языка. Над человеком, не умеющим образно говорить, просто подсмеивались, как подсмеивались над мужчиной, который не умеет красиво рубить угол, или над женщиной, не умеющей вязать и плести кружева. Образность речи многими деревенскими людьми и доньше не считается чем-то исключительным.) Можно ли обижаться на писателя, если у него рациональный, суховато-лаконичный стиль письма?

Понятно, наконец, и стремление учителей, работников образования к пунктуационной и орфографической унификации языка, к твердым и постоянным правилам.

Но ... опять же это проклятое «но». Если один человек говорит сухо, кратко, неэмоционально, то почему так же должен говорить и другой?

Пуристы, ревнители языка обычно ссылаются на Горького, когда отстаивают так называемую чистоту и правильность языка. Но, во-первых, при всей своей ненависти к словесному трюкачеству Горький всегда выступал против словарного ограничительства, боролся за образное богатство языка. Во-вторых, опасность ограничительства, обеднение языка несоизмерима с опасностью засорения. Как это можно засорить народный, литературный язык? И если можно, то не оборачивается ли для него еще большим не-

дугом борьба с засорением? Беда Ф. Панферова, раскритикованного Горьким, была, вероятно, вовсе не в злоупотреблении местными, областническими выражениями.. У Шолохова этих выражений не меньше, а больше, чем у Панферова, но «Тихий Дон» остается «Тихим Доном».

Вызывает улыбку (иногда, пожалуй, и слезы) активный протест пуританина, который приказывает человеку не говорить по-рязански. Или по-вологодски. Но почему? Пусть говорит на здоровье! От фонетических диалектизмов общелитературный язык не пострадает, не проиграет и не исчезнет.

Я вовсе не призываю к анархии в языковой стихии, к свободе от всего рационального и общепринятого. Но если унификация и стандарт в производстве, в технике есть великое благо, то унификация в языке литературы — это смерть образа, гибель индивидуальности.

Недоверие к читателю проявляется не только в школьных учебниках. Вот передо мной книги таких великолепных стилистов, как А. Чапыгин и Б. Шергин. В конце чапыгинского тома помещен целый словарь так называемых «областных устаревших слов». Угодили в него даже такие слова, как *поскотина*, *каравашки*. В книге Б. Шергина «Запечатленная слава» редактор считает своим долгом растолковывать читателю, что такое: быстрина, вереск, всхожее и закатное солнце, говóря, дресва, затор, копылья, кормщик, лесина, лихорадство, озноб, перешерстить, столешница, угор, углый, утренник.

Тут уж ничего не остается, как в недоумении развести руками.

Говорят: что написано пером, не вырубить топором. Оказывается, еще как можно вырубить. И даже не топором, а тем же редакторским или каким-либо другим пером, которое сплошь да рядом обладает большими правами, чем перо писательское.

Редакторы хрестоматии для пятого класса объявили слово *супротив* искаженным. Миллионы учителей и учащихся поверили этому, и вот вам пожалуйста — слово из языка выброшено. Больше того, возникает при этом вообще недоверие к приставке *су-*. Между тем приставка *су-* пусть и не очень распространена в нашем языке, но она весьма емкая. (Вспомним хотя бы такие полновесные слова, как: сутемень, суглинок, супесь, сутолока, сугрев, сугорбый, сукровица.)

Мы вправе принимать или отвергать новые и новейшие словосочетания и обороты, родившиеся по нашей воле, благодаря нашим субъективным стараниям в языке. Но не принимать или игнорировать то, что создано до нас, создано извечным опытом народа, что идет из глубин родного языка, что соответствует духу и плоти этого языка, что живет и может жить — не принимать или игнорировать все это, пусть даже и в частностях, никто из нас не в праве.